

Н О В Ы Й
ЖУРНАЛЪ
ДЛЯ ВСѢХЪ.

1913 г. ЯНВАРЬ № 1.

Писатели и письма.

Статья Е. Колтоновской.

Новыя письма Гончарова ¹⁾. *Письма Чехова* ²⁾.

Гончаровъ рѣзко протестовалъ противъ опубликова-
нія какихъ бы то ни было интимныхъ документовъ,
относящихся къ его частной жизни, между прочимъ,
и его переписки съ друзьями. Въ статьѣ «Нарушеніе
воли» (соч., т. II) онъ категорически проситъ не печа-
тать *ничего*, «что» онъ «самъ не напечаталъ», и особенно
безпокоить его судьба писемъ, вообще не предназна-
чавшихся имъ для печати. «Пусть письма мои остаются
собственностью тѣхъ, кому они писаны, и не пере-

ходятъ въ другія руки, а потомъ предадутся уничтоже-
нію». Съ нетерпѣніемъ и раздражительностью душевно-
больного, онъ настаиваетъ на томъ, что въ письмахъ
его «нѣтъ ничего дѣльнаго, серьезнаго, глубокаго,
какъ, напримѣръ, въ письмахъ Кавелина, Крамского;
не пѣнятся они и той игрой блеска, остроумія и талан-
та, какъ письма Пушкина, Тургенева; словомъ, нѣтъ
ничего олимпійскаго и нѣтъ даже почти ничего каса-
ющагося литературы. Это безцеремонная болтовня
съ пріятелями, пріятельницами, рѣдко съ литерато-
рами, иногда, можетъ быть, живая и интересная для
тѣхъ только, къ кому писалась, и въ то время, когда
писалась. У меня есть своего рода ридеи³⁾ являться
на позоръ свѣту съ такимъ хламомъ, и я прошу поща-

¹⁾ М. М. Стасюлевичъ и его современники въ
ихъ перепискѣ. Подъ ред. М. К. Лемке. Т. IV.
Съ 3 портретами. Спб. 1912.

²⁾ Письма А. П. Чехова. II. Съ иллюстраціями.
Изд. М. П. Чеховой. М. 1912.

ды этому чувству»... Онъ обращается ко всѣмъ «добрымъ порядочнымъ людямъ», къ «джентельмъ-намъ пера», умоляя исполнить эту его послѣднюю волю.

Характерно, что таково же было предсмертное желаніе другого крупнаго художника, французскаго писателя Мопассана, тоже больного и такъ же тщательно, какъ Гончаровъ, оберегавшаго свои душевныя тайны. Оба художника были скупы на признанія и всегда отъ всѣхъ скрывали тайну своей душевной неуравновѣшенности—той страшной болѣзни, которая окрасила всѣ ихъ переживанія. Оба страстно любили свое призваніе, отдавая литературѣ всю жизнь, и ревниво процѣживали матеріалъ своего творчества, не допуская, чтобы туда проникло что-нибудь исключительное и болное, случайное, составлявшее предметъ индивидуальной муки. Они хотѣли, чтобы тайна этой муки не вошла въ творчество, чтобы возлюбленное искусство воплотило только типичное, общечеловѣческое, общеобязательное и здоровое...

Вотъ какъ глубоко лежитъ корень гончаровскаго нервознаго каприза относительно писемъ, кстати сказать, совсѣмъ непонятнаго писателямъ противоположнаго здороваго склада, напр., Чехову!

Всякое желаніе естественно и, въ извѣстныхъ границахъ, законно. При жизни писатель въ правѣ, какъ угодно ограничивать свое частное существованіе и защищать его отъ литературнаго и общественнаго вмѣшательства. Но съ концомъ жизни кончаются и его права. Его конкретной личности больше нѣтъ, а есть только созданныя имъ духовныя цѣнности. Наслѣдникъ этихъ цѣнностей—общество—не можетъ не интересоваться всѣми фактами и обстоятельствами, относящимися къ ихъ созданію. Ему принадлежить и право рѣшать, цѣнны ли, или нѣтъ тѣ или другіе изъ оставшихся документовъ. Самъ писатель тутъ не судья. Лучшее доказательство тому—переписка Гончарова, которая, вопреки его мнѣнію, даетъ много матеріала чисто литературнаго—для анализа его творчества и пониманія его писательской природы.

Обереганіе Гончаровымъ правъ своей частной жизни тѣмъ болѣе неосновательно, что у него этой жизни почти совсѣмъ не было; вся его жизнь была заполнена литературой. И какъ противорѣчитъ мнѣніе Гончарова о своихъ письмахъ, выраженное имъ въ завѣщаніи, его же словамъ, вырвавшимся въ одномъ изъ его писемъ! «Письма, за невозможностью писать другое, есть единственный путь, которымъ я разрѣшаюсь своею литературною силою и облегчаю напоръ фантазіи. Это моя другая жизнь—мнѣ фантазіи»... «Невозможность писать другое» создавалась очень часто, ибо для перваго творчества Гончарова пужны были исключительныя условія. Какимъ же образомъ эти письма, замѣнявшія творчество, письма, въ которыхъ изливалась его сила и фантазія, могли быть такъ ничтожны, неважны и незначительны, какъ увѣряетъ въ своемъ завѣщаніи Гонча-

ровъ?.. Только что появившіяся въ печати письма Гончарова къ бывшему редактору «Вѣстн. Евр.» М. М. Стасюлевичу показываютъ, какъ ошибочно это мнѣніе больного писателя. Его письма служатъ чрезвычайно цѣннымъ дополненіемъ къ его біографіи и творчеству; они даютъ много новаго и способствуютъ совершенно иному представленію о его писательской личности, чѣмъ то, которое сложилось раньше.

Гончарова у насъ обыкновенно изображали писателемъ объективнымъ, уравновѣшеннымъ и здоровымъ, съ нѣсколько жестковатымъ, грубымъ и сухимъ складомъ души, иногда попросту эгоистомъ, которому ни до чего и ни до кого не было дѣла. Между тѣмъ, судя по письмамъ, это былъ нѣжный и сложный человѣкъ съ тонкими, чувствительными нервами, и совершенно больной, до дна испившій чашу мучений, доставляемыхъ одиночествомъ, замкнутостью, затерянностью и затравленностью.

Психологія, раскрывающаяся въ письмахъ Гончарова, это—типичная психологія русскаго уязвленнаго *подпольнаго* человѣка, такъ ярко отразившаяся въ нашей литературѣ, начиная съ Гоголя, кончая Ремизовымъ. Что-то въ самой глубинѣ натуры этого человѣка непоправимо ущемлено и отравлено; какой-то странный, тайный недугъ унаслѣдованъ имъ отъ далекихъ предковъ, воспринятъ изъ общенациональнаго источника, недугъ, отъ котораго не спасаетъ ни атлетическое сложеніе въ стилѣ старыхъ русскихъ богатырей, ни душевная оригинальность, ни талантъ...

«Мнѣ некуда уйти отъ невзгодъ, нѣтъ у меня никакого «шѣдра», т. е. близкихъ. Тѣ, которые предлагали быть оными, таковы, что я отъ нихъ—какъ бы подалее. А самъ я никому не предлагалъ: боялся, а если бывали случаи, то обжигался. А не близкіе продѣлывали и продѣлываютъ такіа «симпатіи» сомной и въ такомъ нестерпимомъ количествѣ, что хоть покулай у Devism'a револьверъ да и пали себѣ въ лобъ»...—пишетъ Гончаровъ. «Напрасно я ждалъ, чтобы кто-нибудь понялъ, успокоилъ, обласкалъ меня,—жалуются онъ въ другомъ письмѣ, —напрасно обращался къ женщинамъ:—онѣ не понимали этого и наносили безпощадные удары, не подозрѣвая, что это все равно, что бить слѣпого или ребенка. Отъ этихъ ударовъ и злобнаго, грубаго смѣха у меня останутся неизгладимые слѣды. Жду утѣшенія только отъ своего труда: если кончу его, этимъ и успокоюсь, и больше ничѣмъ,—и тогда уйду, спрячусь куда-нибудь въ уголъ и буду тамъ умирать»...

Переписка со Стасюлевичемъ относится ко времени созданія «Обрыва», самому тревожному періоду въ жизни Гончарова, когда весь смыслъ его существованія сосредоточился въ творчествѣ. Муки, сомнѣнія, неудовлетворенность собою постоянно чередовались въ немъ съ приливами творческой радости и гордости. «Я въ головѣ кончилъ все,—пишетъ онъ Стасюле-

вичу.—и къ тому, что я Вамъ разсказалъ, прибавилось многое, но такое смѣлое и оригинальное, что если напишется, то я буду бояться прочесть и Вамъ, чтобы Вы не засмѣялись моей смѣлостью. Такая смѣлость можетъ оправдаться только подъ перомъ первокласснаго писателя, какъ Пушкинъ, Гоголь—и какъ никто больше. У меня мечты, желанія и молитвы Райскаго кончаются. какъ торжественнымъ аккордомъ къ музыкѣ, апофеозомъ женщинъ, потомъ родины, Россіи, наконецъ Божества и любви... Я боюсь, боюсь этого небывалаго у меня притока фантазій, боюсь, что маленькое перо мое не выдержитъ, не поднимется на высоту моихъ идеаловъ и художественно-религиозныхъ настроеній. Но Богъ дастъ, Вѣра (героиня «Обрыва») спасетъ меня»... «Да, я не пишу романъ—Вы правы; онъ пишется и къмъ-то диктуется мнѣ»...

Для этого напряженнаго творчества, почти священнодѣйствія, Гончарову нужна была исключительная внѣшняя обстановка. Прежде всего, нужна была полнѣйшая тишина, чтобы ничто извнѣ не развлекало и не раздражало его. На отсутствіе этой нужной тишины онъ жалуется во всѣхъ своихъ письмахъ съ нетерпѣніемъ и досадою, какъ обиженный ребенокъ. «Знаете, чего я ищу и почти не нахожу ни въ какомъ углу міра: это простой тишины, но такой, какъ могила! Нѣтъ нигдѣ: вотъ здѣсь съ улицы (къ счастью, не часто) доходитъ стукъ колесъ, въ зелени птицы трещать. А главный мой врагъ—это фортепіано. Въ домѣ его нѣтъ, а черезъ улицу кто-то бренчитъ. А мнѣ нужно совсѣмъ уйти въ себя, въ свой, теперь извѣстный Вамъ, міръ, и чтобы ни одинъ звукъ не вторгался въ область моей фантазій!» Та же жалоба и въ другомъ, позднѣйшемъ письмѣ изъ Киссингена, гдѣ Гончаровъ лечился водами. «Бѣда та, что окна выходятъ на улицу, откуда доносится стукъ колесъ, бѣготня и крикъ ребятишекъ, наконецъ, фортепіано и пѣніе какой-то Матильды Кашперовой... Нервы мои раздражаются, я бросаю перо, хожу, пережидая, не кончилось ли? Кончилось—только сажусь, мальчишка играетъ въ дудку и т. д. А мнѣ необходима тишина, чтобы чутко вслушиваться въ музыку, играющую внутри меня, и поспѣшно класть ее на ноты»... «Я въ жалкомъ положеніи, чуть не плачу отъ какой-то упорной вражды судьбы ко мнѣ и къ моему труду. Я рвусь къ нему, мнѣ спятся сны теперь только изъ второй половины моего романа, въ который положилъ чуть не полжизни, и между тѣмъ, все мѣшается мнѣ, на всякомъ шагу преграды—и какія иногда механичныя, а все же преграды! Въ сію минуту, напримѣръ, Боже мой, слезы ярости выступаютъ у меня, и я, вынувъ утромъ листки, сажусь за нихъ такой бодрый, съ такой охотою продолжать — и черезъ полчаса, черезъ часъ прячу ихъ назадъ и, убитый, праздно трачу цѣлый день или истощаюсь напрасно въ летучихъ письмахъ... И что нужно мнѣ: добро бы роскошная природа, комфортабельная обстановка, прекрасные

виды кругомъ—совсѣмъ напротивъ: не нужно, это мѣшаетъ, это развлекаетъ, это хорошо за обѣдомъ или вечеромъ при отдыхѣ, для успокоенія нервъ. Но въ работѣ мнѣ нужна простая комната, съ письменнымъ столомъ, мягкимъ кресломъ и съ голыми стѣнами, чтобы ничто даже глазъ не развлекало, а главное, чтобы *туда не проникалъ никакой внѣшній звукъ*, чтобы могильная тишина была вокругъ и чтобы я могъ вглядываться, вслушиваться въ то, что происходитъ во мнѣ, и записывать»... Последнее признаніе важно для характеристики не только больной, хрупкой и остро-впечатлительной души Гончарова, съ такимъ трудомъ сосредоточивавшейся въ творчествѣ, но и самаго гончаровскаго творчества, произвольнаго, стихійнаго, подлинно художественнаго,—того, которое доступно только немногимъ избранныкамъ.

Въ одномъ изъ писемъ Гончаровъ самъ подробно анализируетъ свою натуру и тѣ внѣшнія обстоятельства, которыя еще обострили основной трагизмъ его психологій: «Природа дала мнѣ тонкіе и чуткіе нервы (откуда и та страшная впечатлительность и страстность всей натуры): этого никто никогда не понималъ—и тѣ, которые только замѣчали послѣдствія этой впечатлительности и нервной раздражительности,—что дѣлалъ? Совѣстно и грустно мнѣ становится и за нихъ, и за себя, когда я прослѣжу нѣкоторыя явленія моей жизни. Меня дразнили, травили, какъ звѣря, думая Богъ знаетъ что и не умѣя рѣшить, что я такое! Притворщикъ, актеръ или сумасшедшій, или изъ меня, и на словахъ, и на письмахъ, и въ поступкахъ, бьется только и играетъ, сверкая, сила фантазій, ума, чувствъ, просясь во что-нибудь въ форму, въ статую, картину, драму, романъ, и что бьется это все изъ самой почвы, можетъ быть, довольно богатой, что это требуетъ вниманія нѣсколько заботливой руки, дружества, а не вражды! А, между тѣмъ, друзья являлись мнѣ врагами и... Понятно, что я ничего не дѣлалъ, не писалъ, а мучился внутренно, въ ужасѣ самъ отъ того, что не умѣю этого объяснить и растолковать!» А когда отъ кого-нибудь изъ друзей, случайно появившихъ этого яснаго тнаго мученика, вѣяло южнымъ вѣтромъ», каждая творчества снова возвращалась къ нему. «Я будто проснулся,—пишетъ Гончаровъ въ томъ же письмѣ,—и опять заговорила во мнѣ прежняя производительная сила, которая, казалось, оставила было меня совсѣмъ, и мнѣ живѣе, нежели когда-нибудь, видится вполне оконченною моя странная большая картина, моя Малиновка, съ бабушкой и ея внуками. И такъ хочется туда, къ нимъ, договорить о нихъ. И тутъ же хочется сказать въ Райскомъ все, что я говорилъ Вамъ о себѣ лично и что говорю теперь, выше, и это, можетъ быть, скажется въ этомъ же письмѣ, ниже. Вы не будете смѣяться, Вы теперь знаете, какой я дикій, какой я сумасшедшій, какой я волокита—а я больной, загнаный, затравленный, непонятый никѣмъ и нещадно оскорбляемый самыми близкими

мнѣ людьми, даже женщинами, всего болѣе ими, кому я посвятилъ такъ много жизни и пера. Меня лечили—отъ фантази, желая вылечить отъ разныхъ пороковъ, которыхъ, можетъ быть, и нѣтъ, и этимъ только больше и больше портили, не понимая, что съ такой натурой пужна не крапива смѣха, не грубые удары всевозможныхъ бичей, а совсѣмъ противоположное!..» Безъ конца лютуютъ эти горькія, наивныя жалобы въ письмахъ больного писателя.

Вся жизнь—въ творчествѣ, а создать для него благоприятныя условія (и внутреннія, и внѣшнія) трудно, почти невозможно,—вотъ основной трагизмъ психологіи Гончарова. Больная душа его мучительно реагировала на всякую помѣху—на жестокость людей, на отсутствіе тишины и дурную погоду, во всемъ видѣла козни невидимыхъ враговъ, вѣдѣніе судьбы. «Это ужасно!—восклицаетъ онъ въ письмѣ.—Я, наконецъ, вдаюсь въ мистицизмъ и начинаю думать, что судьба нарочно подставляетъ мнѣ ногу, чтобы я бросилъ неоконченный трудъ, въ который я положилъ почти всѣ мои идеи, понятія и чувства добра, чести, честности, нравственности, вѣры—всего, что, по моему мнѣнію, должно составлять нравственную природу человѣка!... Я думаю даже, что я не докончу и курса и уѣду. Съ улицы, кромѣ музыки, несется стукъ колесъ, говоръ... Боже мой! Зачѣмъ же это? Отчего въ прошломъ году какая-то толпа въ Маріенбадѣ мѣшала мнѣ? Отчего надъ моею комнатою поселился какой-то сумасшедшій и топалъ ногами? Что же все это значитъ? Кого и чѣмъ я оскорбилъ умышленно? Гдѣ мои враги, чего они хотятъ отъ меня или отчего не понимаютъ, что я такое, и зачѣмъ дѣлаютъ слѣпо злое дѣло?».

Этотъ «мистицизмъ» Гончарова, — его подозрительность, въ области литературы принимала характеръ настоящей маіи преслѣдованія. Онъ постоянно трепеталъ за свои сюжеты, боясь, что ихъ у него позанимуютъ и раньше него используютъ. Его мнительность выросла все на той же почвѣ страстной, исключительной любви къ литературѣ. Если литература—единственная возлюбленная, которой безраздѣльно принадлежать всѣ чувства, какъ же не ревновать ее, не боятсѣ, что ее отнимутъ или оскорбятъ? Гончаровъ тщательно скрываетъ отъ всѣхъ свои литературные планы и умоляетъ Стасюлевича никому не разсказывать содержанія «Обрыва» до появленія его въ печати. Подъ особеннымъ подозрѣніемъ у него находится Тургеневъ, сюжеты романовъ котораго, вообще, близки къ гончаровскимъ. Чуть не въ каждомъ письмѣ Гончаровъ напоминаетъ Стасюлевичу объ осторожности съ Тургеневымъ. «Поклонитесь ему, но, по уговору, не передавайте ему» и т. д. Даже «Дача на Рейнѣ» Ауэрбаха, которая должна была появиться тоже на страницахъ «Вѣстн. Евр.» съ предисловіемъ Тургенева, возбуждаетъ въ Гончаровѣ острую подозрительность. Онъ выражаетъ сомнѣніе, «не имѣ-

етъ ли *эта дача на Рейнѣ* чего-нибудь общаго съ «домомъ на Волгѣ», т. е. его «Обрывомъ». Подозрѣнія Гончарова (конечно, совершенно неосновательныя) стали извѣстны Тургеневу и испортили ихъ пріятельскія отношенія. Въ 1860 году у нихъ дѣло дошло даже до третейскаго суда *).

Эта нелѣпая исторія съ Тургеневымъ, какъ и вообще всякія безпокойства Гончарова о томъ, что его «предупредятъ», заимствуютъ его тему и скорѣе, чѣмъ онъ, обработаютъ ее, чрезвычайно характерны для его мучительной, *подпольной* психологіи.

Печатанію «Обрыва» предшествовала очень длинная исторія непередаваемыхъ мукъ больного художника и его сомнѣній: «быть или не быть» его роману, а вмѣстѣ съ тѣмъ, «быть или не быть» ему самому. Стасюлевичъ добился права печатать «Обрывъ» его съ большимъ трудомъ и послѣ того чувствовалъ себя, какъ полководецъ, выигравшій славное сраженіе. Но самое печатаніе происходило среди безчисленныхъ терній. Гончаровъ измучилъ и себя, и редактора непрерывнымъ нервничаніемъ. Онъ безпокоится о томъ, въ чѣлости ли доведетъ Стасюлевичъ его рукописи, не сомнѣвается ли онъ въ успѣхѣ романа и т. п., и, наконецъ, признается: «У меня у самого сдѣлался какой-то обрывъ или провалъ, куда я и боюсь, что мы съ тетрадями оборвемся, провалимся и не выльземъ больше»... Такая же драма разыгрывается по поводу каждой корректуры: получена ли, исправлена ли и т. п. Одной нервозностью нельзя объяснить всѣхъ этихъ невѣроятныхъ литературныхъ мукъ и заботъ: нужно быть настоящимъ отцомъ своего произведенія, чтобы такъ съ нимъ сливаться и принимать къ сердцу его интересы. Все время печатанія «Обрыва» Гончаровъ живетъ совершенно особенною, бредовою, мятущеюся жизнью. Обыкновенныя корректуры для него недостаточны, онъ хочетъ исправлять свое чадо «до послѣдней возможности», хочетъ, чтобы ради него откладывали печатанье журнала и засыпаютъ Стасюлевича гнѣвными упреками и оскорбленіями за его педантизмъ въ аккуратномъ выпускѣ журнала каждаго перваго числа. «Мало развѣ времени было», заговорите Вы и т. д. Мало! отвѣчу я: художнику всегда мало времени! И потому редакторъ съ нимъ долженъ многое измѣнять изъ своихъ «непоколебимыхъ» правилъ, иначе онъ—не редакторъ, а такъ—гнусность!»

Опытный редакторъ-джентльменъ терпѣливо сносилъ безумныя выходки своего мучителя-сотрудника. Онъ преклонялся предъ талантомъ Гончарова и очень дорожилъ его романомъ для журнала. Для Стасюлевича его журналъ былъ почти тѣмъ же, чѣмъ для Гончарова его романъ. Неистовый возлюбленный литературы, конечно, это цѣнилъ и отдавалъ должное идеальному редактору, выражая ему благодарность

*) См. примѣч. М. К. Лемке. „М. М. Стасюлевичъ и его соврем.“ Т. IV, стр. 26.

съ той искренностью и душевной пѣжностью, которая была ему свойственна.

Та же пѣжность души, сквозь расплывчатую «обломовскую» мягкость, сквозить у Гончарова и во всѣхъ обыденныхъ отношеніяхъ. Сколько интимной ласки и тревоги этотъ «сухой», недовѣрчивый, не рѣшавшійся обзавестись собственной семьей человѣкъ вложилъ въ заботы о чужихъ дѣтяхъ—дѣтяхъ своего покойнаго камердинера, къ которымъ онъ горячо привязался! И какъ онъ дорожилъ всякимъ дружескимъ словомъ по отношенію къ себѣ!.. Письма рисуютъ обликъ Гончарова совсѣмъ инымъ, чѣмъ тотъ, который созданъ отчасти по его произведеніямъ, отчасти по слухамъ.

Трудно представить себѣ большую психологическую противоположность Гончарову, чѣмъ Чеховъ. Тамъ—бури, мятежный мрачный пламень, величавый вулканъ, изъ котораго вырывается голосъ старой, умирающей Руси. А здѣсь—тихій, ясный свѣтъ новой жизни, такой ровный свѣтъ, что невольно удивляешься, какъ онъ могъ засіять въ русской литературѣ, надъ нашей пестрой неустроенной землей. Тамъ—подпольное затворничество и болѣзненное одиночество, тутъ—холодноватая, спокойная сдержанность и какъ бы сознательное уединеніе отъ людей. Чеховъ, съ его прирожденною культурностью, удивительной гармоніей таланта и ума и соразмѣрностью всѣхъ душевныхъ силъ, это—Европа въ истинно-русскомъ обликѣ, Россія будущаго. Не похожи Русь старая и новая, но все же и тамъ, и здѣсь—подлинная Русь. Это роднитъ столь разныхъ писателей.

Роднитъ Гончарова и Чехова еще одна черта: ихъ чисто художническая природа, ихъ глубокая преданность интересамъ искусства, литературы. Если у холодноватаго, меланхоличнаго Чехова, относившагося ко всему въ жизни философски, «какъ бы свысока», звучать страстные нотки, то лишь въ разговорахъ объ искусствѣ, о творчествѣ. Какъ только въ его обширныхъ письмахъ, такихъ эническихъ, полныхъ юмора и остроумія, заходить рѣчь на эту тему, чувствуется словно приливъ большой волны, особенная напряженность, серьезность и проникательность чеховской мысли. Сужденія Чехова о литературѣ, его критическія замѣчанія, совѣты другимъ писателямъ и разныя художническія признанія отличаются необыкновенной тонкостью и прозорливостью. Съ такимъ пониманіемъ искусства, съ такимъ вкусомъ—нужно родиться. Этого нельзя достигнуть развитіемъ...

Безмѣрно широкій и терпимый къ людямъ—до такой степени терпимый, что у него въ одномъ сердцѣ могли совмѣщаться Короленко и Суворинъ,—Чеховъ въ литературѣ былъ строгъ. Тамъ, гдѣ онъ любилъ, онъ не былъ безпеченъ, онъ предъявлялъ опредѣленные требованія. Правда, благожелательность къ другимъ, стремленіе подмѣтить, а иногда и раз-

дуть сочувствіемъ каждую искру таланта—продолжаетъ занимать центральное мѣсто въ его психологій, но все же въ своихъ литературныхъ опредѣленіяхъ онъ рѣшителенъ. Вотъ что пишетъ онъ своему пріятелю Щеглову, въ отвѣтъ на просьбу высказать мнѣніе о его повѣсти «Миньона». «Мнѣ кажется, что Вы, какъ мнительный и маловѣрный авторъ, изъ страха, что лица и характеры будутъ недостаточно ясны, дали слишкомъ большое мѣсто тщательной детальной обрисовкѣ. Получилась отъ этого излишняя пестрота, дурно вліяющая на общее впечатлѣніе. Боюсь, что читатель Вамъ не повѣритъ, Вы въ доказательство того, какъ можетъ иногда сильно вліять музыка, занялись усердно психикой Вашего Фендрика; психика Вамъ удалась, но зато разстояніе между такими моментами, какъ «атагга, могира» и выстрѣломъ, у Васъ получилось длинное, и читатель прежде, чѣмъ дойти до самоубійства, отдыхаетъ отъ боли, причиненной ему «атагга, могира». *А нельзя давать ему отдыха: нужно держать его напряженнымъ.* Эти указанія не имѣли бы мѣста, если бы «Миньона» была большою повѣстью. У большихъ, толстыхъ произведеній свои цѣли, требующія исполненія самого тщательнаго, независимо отъ общаго впечатлѣнія. *Въ маленькихъ же разсказахъ лучше не досказывать, чѣмъ пересказывать, потому что... потому что... не знаю почему!..* Въ другомъ письмѣ къ Щеглову Чеховъ успокоительно добавляетъ: «Вы, ради Создателя, не вѣрте вашимъ прокурорамъ и продолжайте работать такъ, какъ доселѣ работали. Иязыкъ, и манера, и характеры, и длинныя описанія, и мелкія картинки—все это у васъ свое собственное, оригинальное и хорошее»... Предостерегая пріятеля отъ увлеченія драматургіей, Чеховъ, между прочимъ, приводитъ и такой доводъ: «Я боюсь, что изъ Васъ выйдетъ не русскій драматургъ, а петербургскій. Писать для сцены и имѣть успѣхъ во всей Россіи можетъ только тотъ, кто бываетъ въ Петербургѣ только гостемъ и наблюдаетъ жизнь не съ Тучкова моста»...

«Вы хорошо дѣлаете, что боитесь мелочности и казенщины,—пишетъ Чеховъ одному малоизвѣстному автору,—но опять таки Вы не дайте воли своему темпераменту. Женщинъ нужно описывать такъ, чтобы читатель чувствовалъ, что Вы въ разстегнутой жилеткѣ и безъ галстука, природу—то же самое. Дайте себѣ свободы... Въ письмѣ къ другому начинающему автору онъ входитъ въ разборъ всѣхъ деталей, «неважныхъ по существу, но рѣжущихъ глаза»; даже знаковь препинанія. «Знаки препинанія, служащія нотами при чтеніи, разставлены у Васъ, какъ пуговицы на мундирѣ гоголевскаго городничаго»...

Еще строже Чеховъ относится къ самому себѣ. Вотъ что пишетъ онъ поэту Плещеву въ то время, когда создавалась первая его крупная повѣсть «Степь». «Тема хорошая, пишется весело, но, къ несчастію, отъ непривычки писать длинно, отъ страха написать

лишнее я впадаю въ крайность: каждая страница выходитъ компактной, какъ маленькій разсказъ, картины громоздятся, тѣснятся и, заслоняя другъ друга, губятъ общее впечатлѣніе. Въ результатѣ получается не картина, въ которой всѣ частности, какъ звѣзды въ небѣ, слились въ одно общее, а конспектъ, сухой перечень впечатлѣній»...

Въ одномъ изъ интереснѣйшихъ писемъ по поводу своей драмы «Ивановъ» Чеховъ пишетъ Суворину: «По замыслу-то я попалъ приблизительно въ настоящую точку (въ «Ивановѣ»), но исполненіе не годится ни къ чорту. *Надо было бы подождать!* Я радъ, что 2—3 года тому назадъ я не слушался Григоревича и не писалъ романа. Воображаю, сколько бы добра я напортилъ, если бы послушался. Онъ говоритъ: «талантъ и свѣжесть все одолѣютъ». Талантъ и свѣжесть многое испортить могутъ—это вѣрно. Кромѣ изобилія матеріала и таланта, нужно кое-что не менѣе важное. Нужна возмужалость—это разъ; во-вторыхъ, необходимо чувство личной свободы, а это чувство стало развиваться во мнѣ только недавно. Раньше его у меня не было; его замѣняли съ успѣхомъ мое легкомысліе, небрежность и неуваженіе къ дѣлу». Дальнѣйшія строки особенно интересны и въ литературномъ, и въ автобіографическомъ отношеніи. «Что писатели-дворяне брали у природы даромъ, то разночинцы покупаютъ цѣною молодости. Напишите-ка разсказъ о томъ, какъ молодой человѣкъ, сынъ крѣпостного, бывшій лавочникъ, пѣвчій, гимназистъ и студентъ, воспитанный на чинопочитаніи, цѣлованіи поповскихъ рукъ, поклоненіи чужимъ мыслямъ, благодарившій за каждый кусокъ хлѣба, много разъ сѣченный, ходившій по урокамъ безъ калошъ, дравшійся, мучившій животныхъ, любившій обѣдать у богатыхъ родственниковъ, лицемерившій и Богу, и людямъ безъ всякой надобности, только изъ сознанія своего ничтожества,—напишите, какъ этотъ молодой человѣкъ выдавливается изъ себя по каплямъ раба и какъ онъ, проснувшись въ одно прекрасное утро, чувствуетъ, что въ его жилахъ течетъ уже не рабская кровь, а настоящая человѣческая».

Весьма любопытна параллель, которую Чеховъ проводитъ между собою и Короленкомъ въ отвѣтномъ письмѣ Пешеву. «Что касается Короленко, то дѣлать какія-либо заключенія о его будущемъ—преждевременно. Я и онъ находимся теперь именно въ томъ фазисѣ, когда фортуна рѣшаетъ, куда пускать насъ: вверхъ или внизъ по наклону. Колебанія вполне естественны. Въ порядкѣ вещей былъ бы даже временный застой. Мнѣ хочется вѣрить, что Короленко выйдетъ побѣдителемъ и найдетъ точку опоры. На его сторонѣ крѣпкое здоровье, трезвость, устойчивость взглядовъ и ясный, хороший умъ, хотя и не чуждый предубѣжденій, но зато свободный отъ предрасудковъ. Я тоже не дамъ фортуны живой въ руки. Хотя у меня нѣтъ того, что есть у Короленко, зато

у меня есть кое-что другое. У меня въ прошломъ масса ошибокъ, какихъ не зналъ Короленко, а гдѣ ошибки, тамъ и опытъ. У меня, кромѣ того, шире поле брани и богаче выборъ; кромѣ романа, стиховъ и доносовъ, я все перепробовалъ... Такъ что, при всемъ моемъ желаніи взглянуть на себя и на Короленко окомъ пессимиста и повѣсить носъ на квинту, я все-таки не унываю ни одной минуты, ибо еще не вижу данныхъ, говорящихъ за или противъ».

Свое художническое profession de foi Чеховъ выразилъ въ своемъ извѣстномъ письмѣ къ Пешеву. «Я боюсь тѣхъ, кто между строкъ ищетъ тенденцій и кто хочетъ видѣть меня либераломъ или консерватормъ. Я не либераль, не консерваторъ, не постепеновецъ, не монахъ, не индифферентистъ. Я хотѣлъ бы быть свободнымъ художникомъ—и только... Я ненавижу ложъ и насиліе во всѣхъ ихъ видахъ... Форму и ярлыкъ я считаю предрасудкомъ. Мое святое святыхъ—человѣческое тѣло, здоровье, умъ, талантъ, вдохновеніе, любовь и абсолютнѣйшая свобода, свобода отъ силы и лжи, въ чемъ бы послѣднія двѣ ни выражались».

Въ связи съ этимъ девизомъ стоитъ цѣлый рядъ интересныхъ разсужденій Чехова о задачахъ художника. «Вы пишете, что ни разговоръ о пессимизмѣ, ни повѣсть Кисочки (въ «Огняхъ») ни мало не подвигаютъ и не рѣшаютъ вопроса о пессимизмѣ,—отвѣчаетъ онъ Суворину. — Мнѣ кажется, что не беллетристы должны рѣшать такіе вопросы, какъ Богъ пессимизмъ и т. п. Дѣло беллетриста изобразить только, кто, какъ и при какихъ обстоятельствахъ говорили или думали о Богѣ или пессимизмѣ. Художникъ долженъ быть не судьей своихъ персонажей и того, о чемъ говорить они, а только безпристрастнымъ свидѣтелемъ. Я слышалъ безпорядочный, ничего не рѣшающій разговоръ двухъ русскихъ людей о пессимизмѣ и долженъ передать этотъ разговоръ въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ слышалъ, а дѣлать ему оцѣнку будутъ присяжные, т. е. читатели. Мое дѣло только въ томъ, чтобы быть талантливымъ, т. е. уметь отличать важныя показанія отъ неважныхъ, уметь освѣщать фигуры и говорить ихъ языкомъ. Щегловъ-Леонтьевъ ставитъ мнѣ въ вину, что я кончилъ разсказъ фразой: «Ничего не разберешь на этомъ свѣтѣ!» По его мнѣнію, художникъ-психологъ *долженъ* разобрать, на то онъ психологъ. Но я съ нимъ не согласенъ... По тому же поводу онъ пишетъ Щеглову: «Относительно конца моихъ «Огней» я позволю себѣ не согласиться съ Вами. Не дѣло психолога понимать то, чего онъ не понимаетъ. Паче сего, не дѣло психолога дѣлать видъ, что онъ понимаетъ то, чего не понимаетъ никто. Мы не будемъ шарлатанить и станемъ заявлять прямо, что на этомъ свѣтѣ ничего не разберешь. Все знаютъ и все понимаютъ только дураки и шарлатаны»...

Въ письмахъ Чехова разсѣяно множество вѣрныхъ, мѣлкихъ, а порой и глубокихъ замѣчаній на счетъ

его эпохи, критики, литературы и отдѣльных писателей. Всѣ они свидѣлствуютъ объ его удивительномъ умѣ—тонкомъ, свѣтломъ и трезвомъ, о художественномъ вкусѣ и душевной правдивости.

Въ этихъ письмахъ, которыя по красотѣ языка и законченности не уступаютъ его лучшимъ рассказамъ, проявляется еще одна интересная черта чеховскаго облика. Это упорная и такая не русская—равномѣрная, безъ всякихъ скачковъ и порывовъ, жизненная энергія. «Вы совѣтуете мнѣ не гоняться за двумя зайцами и не помышлять о занятіяхъ медициной,—пишетъ онъ Суворину:—я не знаю, почему нельзя гнаться за двумя зайцами даже въ буквальномъ значеніи этихъ словъ? Были бы гончія, а гнаться можно»... «Гончихъ» у Чехова было достаточно. И его богатой

жизнедѣтельности не могли истребить никакія неблагоприятныя обстоятельства: ни мрачныя общественныя настроенія, ни его ранній недугъ, ни утомительная литературная поденщина ради большой семьи, которая была у него на рукахъ. Источникъ его жизненной бодрости находился гдѣ-то очень глубоко. Откуда онъ? Откуда весь Чеховъ, такой необычный, непохожій на своихъ соотечественниковъ, безъ всякой русской растрепанности, надломленности и малодушія—безъ единой вырожденческой черты? Какимъ бы чудомъ онъ ни явился, онъ *нашъ*, родился на нашей нивѣ и, значить, оставилъ намъ свои здоровыя сѣмена.

Е. Колтоновская.